

Василий ДВОРЦОВ

Из цикла «НЕСКОНЧАЕМЫЙ ПАТЕРИК»

РАССКАЗЫ

МАНЕФА

Мать Манефа крохотными, то шаркающими, то хлюпающими, шажочками пробиралась вдоль бесконечного реечного забора. Грязь была непролазная, какая только и бывает в северном сибирском селе самой глубокой осенью. Тяжелые грузовики-вездеходы вдрызг размесили раскисшую за два месяца глину, глубокие колеи напоминали залитые водой брошенные окопы и воронки неизвестной войны, и для пешеходов остались только тонюсенькие прерывистые тропки по самым краям оголившихся мокрых палисадников. И темнота, темнота — хоть глаз выколи. До монастыря такого тыркающегося слепого ходу было еще не менее получаса, и она опаздывала, опаздывала на службу впервые в жизни. А все сестра. Разболелась, свалилась пластом и распустила хозяйство. Пришлось благословиться у игуменьи и целый день провозиться в избе: сменить у больной постель, помыть полы и настоявшуюся посуду, протопить печь и наварить картошки. И потом еще она почистила в стайке, покормила оголодавших кур и гусей, перебрала в подполе заплесневевшую морковь... А вот капусту украли. Срубили с корня явно свои, соседушки. Воспользовались, злодеи, затянувшейся болячкой в общем-то всегда подозрительной и вредной «бабки Семенихи».

Воспользовались... Воровали в последнее время как-то безбожно. Совсем не так, как раньше, когда в основном таскала с грядок молодежь, более из озорства, нежели от голода. Теперь от всеобщей круговой безработицы крали зло, нагло, часто последнее. Старики уже не держали коров — их резали на выпасах заезжие, с того берега Оби, но явно по наводке своих. Коровы пропадали у самых незащищенных. Да что уж там коровы, если собак половину уже съели. Собак! Пьяницы.

Манефа опаздывала на службу. Самый конец этого ноября выдался удивительно теплым, первый обильно и рыхло выпавший снег стоял, нового еще не было, да и вообще днем постоянно стоял «плюс». Грязь за ночь толком не промерзала, в калошах дальше двора не походишь. Монахиня очень осторожно переставляла ноги в огромных резиновых сапогах, взятых напрокат у вратарщика Сергия-болящего, высоко в кулаках зажимала широкий подол подрясника. И чуть не плакала. Тридцать лет ходит в церковь, последние десять только и живет этим, и вот — такая неурядица! А все темнота. Осенняя липкая мгла обняла со всех сторон совсем неожиданно, ведь выходила она от сестры, когда еще только смеркалось, а вот теперича... стыдоба... Когда на невидимой колокольне

бухнули в первый раз, сердце отозвалось горьким укором. Манефа отпустила юбку, охолодевшими пальцами левой руки перехватила узелочки самовязанных четок, а правой быстро и колноче перекрестилась: «Мать моя, Богородица, Царица небесная, не остави меня, грешную, не остави меня!». Глаза закрылись под внезапно обретшими свинцовую тяжесть веками. Защищало солью. Колокол бухнул во второй раз, в третий... «Мати Пречистая, умоли сына своего и Бога нашего, да простит мне прегрешения мои, да оставит долги мои. Как же так? Как же можно опоздать? И зачем я так задержалась? Зачем? Покормила бы сестрицу, и ладно! А то вот же — поддалась на уговоры: скотинка, огород... Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородица! Прости, прости меня...»

И вдруг как чье-то дыхание коснулось лица, теплом прошло от лба к подбородку. Кто там? Манефа открыла глаза и... словно некий невидимый фонарь осветил перед нею край уличной обочины на пару метров вперед. А в голове вдруг стало так ясно и звонко тихо, что только одна мысль и билась пульсом около виска: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу...» Манефа сделала маленький робкий шаг в это освещенное пространство, потом, уже смелее, другой, третий... Свет двигался вместе с ней. Не яркий, не дававший вокруг себя никаких теней, он просто-напросто плыл впереди, мягко определяя лужи и колдобины, разбросанный строительный мусор и коровьи лепехи. А колокол звал, звал...

Надеждину свадьбу гуляла вся деревня. Странно, но ее никто и никогда по-другому не звал: как родилась четвертая дочка в семье Семеновых, так сразу и заговорили — Надежда. Отчего-то всем вокруг было с самого начала ясно, что это будет человек серьезный, не мелочный, и уважение к нему необходимо выказывать соответствующее. А еще она выросла красивой. Не яркой красавицей, но и не милашкой, не симпатягой какой-нибудь. Красивой. Правильные черты лица, гордая осанка и плывущая походка словно неведомым магнитом тянули к себе взгляды мужиков и баб. Даже свои семейные непрестанно чувствовали, как с возрастом ее светло-серые глаза, тяжелую косу и тугую стройность тела заполняла некая величаво гордая сила. А уж тем более это понимали и принимали все окружающие. И не ломали черемуху в палисаднике, не толкались у калитки, поплеывая семечками, не дрались на пяточке за клубом ровесники, когда пришла пора выходить ей замуж. Все понимали: ее женихом мог быть только самый-самый. Такой и был в селе он один — высокий, сильный, голубоглазый... Все произошло как по писанному: она повелительно твердо посмотрела в его голубые глаза на танцах, и он, вдруг понурившись, пригласил ее на кадрили, потом на падеграс. А потом, почти молча, терпеливо не отмахиваясь от одуревших от цветения черемухи комаров, проводил до дома. С тех пор он провожал ее снова и снова. В какой-то раз она опять сильно и долго посмотрела на него из-за прикрытой уже калитки, и он, также понуро хмурясь и притаптывая только что пробившуюся крапиву, предложил выйти за него замуж.

Наверно оттого, что Михаил был таким правильным, как только может представляться деревенским жителям, работающий, серьезный и вдумчивый муж, мать Надежды даже для приличия за дочь не поревела, а прохлопотала все дни с поджатыми губами, совершенно затюкав как-то вдруг осевшего отца. Вроде бы и свадьба для их семьи была уже третья — кроме брата Ваньши, уехавшего куда-то строить неведомые города, старшие сестры были вовремя и в очередь пристроены — но папаша тосковал, явно тосковал по любимой дочке... Свадьба шла как по колее. И в первый день, после того, как жених с друзьями, где силой, где подкупом, все же сел рядом с невестой, отец и мать сами отчитали незнакомые молодым молитвы и благословили их иконами. Только вот не нашлось иконы Спасителя, ее заменили на Николая Угодника. Кто бы на это обратил внимание... Свадьбу гуляла вся деревня. Гуляли широко, пели протяжные хохлацкие песни за сколоченными в горнице столами, а плясать под ядреные русские частушки выходили во двор. Было удивительно мирно, кажется, даже мошकारа в эту плотную от пожеланий и намеков ночь никого не трогала. Ни единой драки.

И только была та свадьба 21 июня 1941 года. На второй день, когда уже жених под прибаутки и хохотушки пальцами выковырял из чурбака глубоко вбитую ребром мелочь, а новобрачная ублажила гостей пышным пирогом с фантами и загадками, вдруг прискакал с парома на черной потной кобыленке сельский почтальон и гаркнул прямо в народ: «Война!»

Мишу, ее Мишу, взяли в район ровно через месяц. Их, двадцать призывников, всех в белых рубашках, везли на одном длинном баркасе, а провожающие односельчане на лодках плыли через вздутую мутную Обь поодаль. В какой-то лодке гармонь пьяно нащупывала плясовую, но никто не подхватывал. Всю дорогу молчали. Молчали и потом, у райсовета, когда молоденький и весь какой-то дерганый офицерик рвано и бестолково кричал что-то деланным баском о советской Родине и долге. Запомнилось его кукольное лицо и этот ненастоящий, словно из живота, голосок. И лишь когда длинный, в километр, не менее, неровный, изломанный строй из семисот испуганных парней и мужиков потянулся вниз, под гору, к пристани, где уже ждал, дымя огромной полосатой трубой, томский пароход, — все разом закричали. Кричали страшно, натужно. Бабы вопили и выли так, словно уже знали: из этих семисот вернутся лишь пятнадцать.

Надежда не получила от своего мужа ни одного письма. В октябре на той же черной лошади почтальон привез похоронку. Сунул и поскакал обратно. Ей самой было странно, но она перед этим ничего не почувствовала. И в тот момент тоже. Как будто неправда какая-то. Обида.

Домой к родителям Надежда не вернулась. Перезимовала в своей вдовьей хатенке первый раз. Перезимовала во второй. Под вторую весну стал к ней под разными предлогами заглядывать конюх Петруха. Страшно худой, из-за грыжи не взятый на войну, он, наверное, был в общем-то жутко смешон, когда, не находя